



С. ТРОЦКИЙ

Воспоминания

Баку. Весна — лето 1934 г.

<...>

Как только запахло символизмом, я весь обратился к нему; философские и религиозные искания здесь встречались и росли; художественные требования были очень строги, и это радовало.

Дело было не в искусстве для искусства, а в свободе. Строгость форм должна была очертить тонко и четко прекрасное лицо свободы. Благодаря глубокому религиозному чувству свобода не искажалась произволом, хотя кое-где и кое в чем были безвкусные и потому смешные попытки «дерзаний». А свободу искали и для искусства и для себя. Прежде всего хотели избавиться от хроникерства в литературе: отражать, запечатлевать текущий момент общественной жизни — унижительно для искусства, и, конечно, «текущий момент» служит материалом для художника, но не приковывает его произведения к десятилетиям личных впечатлений писателя. Несомненным было, что человек, когда он велик, требует места в мировой истории, а не в десятилетиях. Можно бы возразить, что «не человек, а его произведения», но это — уловка.

Думаю, что из таких простых мыслей и возник символизм. Пристально глядя на форму, не могли не видеть, что художник, пользуясь «хроникерскими» временными формами, заставляет их просвечиваться большим, постоянным. Отсюда полшага до вечного, философского, мистико-религиозного. Эти полшага были сделаны сразу. Здесь было и увлечение. Искали свободу, нашли корень ее в религии и — заставили служить религии и искусство и философию.

Соблазн был велик: малый, временный образ может в художественной обработке пропитаться вечным; вечное мистически преобразует временное, силою метра и ритма; в нем — вся сила, ему и служи. Так утверждался символизм. Кое-кто из мудрейших и тогда уже знал, что не надо бы насиловать временных форм, втискивая в них вечное, и не надо несколько профанировать вечного, постоянно носясь с ним и стаскивая в малейшие, не всегда чистые, переживанья. Ведь глубоко талантливая вещь (вроде «Ревизора») сама собой, свободно пережигает образы даже нелепые во что-то другое.

Как бы то ни было, я, тогда студентик, решительно стучался в стан символистов, имея в виду главным образом философские проблемы в свете мистики и религии. Живя в деревне, захлебывался стенографическими отчетами религиозно-философских собраний¹. Читал все, но особенно увлекся Мережковским, который был тогда совсем другим, чем позже. Его книга «Толстой и Достоевский» очень напряженно надула паруса моей внутренней жизни. В журнале «Новый Путь» был даже напечатан мой крохотный рассказик; написал я еще диалог «Как меня учили» и с ним отправился, дрожа и замирая, к Мережковскому. Это было после московского восстания². <...> Он немного расспросил меня, какую мысль провожу в своем диалоге, отговорился недосугом и предложил «передать» меня Андрею Белому, который у них в квартире тогда жил. Дело было в Петербурге, где я проводил зимы. <...>

А. Б. дал мне визитную карточку с надписью В<ячеславу> И<ванову> — просьба принять меня на его знаменитые среды на Башне. Так А. Б. стал золотым мостом в моей жизни, переправившим меня на сторону тех, кто оказался тончайшим цветением русской культуры.

Что такое Башня, где она находилась, какова была квартира Ивановых, — это достаточно известно и описано. Но помню одну мелочь: В. И. шутя говорил, что его смущает одно: башня их — на крови (потому что внизу была мясная лавка³).

Я явился рано, и у В. И. нашлось долгое время для знакомства со мною. Он как бы исповедал меня; а я с абсолютной легкостью открылся ему весь. Помню чувство — будто распахнулись окна; тепло и свет, простор и бодрость. Радость такого тонкого, глубинного общения необычайна. Человечность самая полная, нежнейшая терпимость, понимание большее, чем сам себя понимаешь,

неумолимая правда и поддержка друга. Все настоящее, как дар и боль, стало призывом и взысканьем. Я был ошеломлен радостью.

Вскоре В. И. стал называть меня своим другом; и так до сих пор, хотя жизнь ужасно разъединила нас.

Я, конечно, познакомился с его женой; но долго дичился ее. Лидия Димитриевна (Зиновьева-Аннибал) сначала многим отталкивала меня. Не ее греческие яркие одеяния, босые ноги, распушенные золотистые волосы⁴, декадентская «искренность» движений и слов могли оттолкнуть меня — прирожденного «декадента»; но резкость в обращении и... ужасно черно подведенные глаза. О последнем я таки решился ей сказать вскоре; спросить, зачем она делает это. В ответ она расхохоталась: «Ведь это аннибаловская кровь!⁵ У моей сестры темное пятно на спине, а у меня — под глазами». — Оставалась резкость. Но В. И. настойчиво рекомендовал дружбу с Л. Д. Дружба эта и состоялась; за оградой резкости я нашел нежность человека, способного любить так, как почти никогда больше не встречал; еще нашел то, что обещал мне В. И., — мудрость. Сколько ночей просиживали мы, говоря о вещах почти несказанных. Я читал им свои наброски, заметки, и как они пестовали мои начинания! Отношения между Л. Д. и В. И. были браком, пожалуй, единственным истинным браком, когда-либо виданным и слышанным мною. Сила единства питала и окрыляла их свободные индивидуальности, и она же делала их одним и единственным духом. На портрете Л. Д., написанном Маргаритой Васильевной Сабашниковой (тогда, — женой Максимилиана Волошина), надпись выражает всю силу этого брака. Где этот необычайный портрет?⁶

<...>

В. И. и Л. Д. Ивановы приехали в Петербург из-за границы (семья под началом М. М. Замятиной — друга Л. Д. — оставалась за границей) незадолго до того⁷. Вот слова Л. Д. по этому поводу: «Мы поняли, что теперь надо быть здесь». Эти слова требуют пояснения; существует мистическое, оккультное восприятие мира и течения событий в мире; согласно этому восприятию центр духовных сил в это время был перенесен в Россию; предстояли огромные события, начинающие переходную эпоху к новой эре в истории человечества; до того Индия была хранительницей духовных сил; но с конца XIX века она передавала Европе свои знания, и острие мировой оси было утверждено в России. Поэтому Л. Д. и В. И. поселились в Петербурге.

<...>

Итак, Ивановы жили на Башне, и очень скоро они стали центром для лучших культурнейших сил страны⁸. Все шло к нам. Беседы велись общие и индивидуальные. Была ли то «среда» или случайно сходились к нам несколько человек, беседа всегда была полна содержания. И не то, что темы были всегда высоки и глубоки; много и шутили, и дурачилась молодежь, и нападали на какую-нибудь отсутствующую или присутствующую личность; но такое нападение всегда оказывалось беглыми лучами света, в котором озарялась индивидуальность, как ценность высшая, как человеческое лицо, как свобода, живая в данной воле. Бывало и осуждение, но как оно рознилось от пересудов! В. И. был всегда необыкновенен в осуждении. Редко это случалось, п<отому> ч<то> житейски он был и терпим, и холоден к тем, чьи поступки и жизнь не соприкасались с высшими ответственными областями духа. Но если он в ценимых им людях замечал изъян духа, предательство самого себя, ложь, сделку, потемнение, лень духовную или невежество, — тогда гнев его был яростен, почти бешен. И в таком гневе, ударяя словами, как ножами, В. И. никогда не допускал унижения «гражданского» достоинства человека, никогда не посягал на свободу, не ставил сам неодолимой преграды отчуждения. Сначала я пугался этих пожаров гнева; потом понял их и, сознаюсь, почти любовался их блеском, их сущностью, как ревности о свободе и правде во имя источника свободы и правды, и их поразительной страстности, никогда не искривленной желчью, злорадством или презрением к человеку; презрение погасило бы гнев. Но вот взрыв изывался, и В. И. опять, почти сразу — друг человека. Быть другом — это всегда было гениальной чертой в нем. Был в Баку один профессор, который сказал как-то, что гениальнее всего В. И. в разговорах за чаем; отчасти зависть и отчасти глубокая пошлость этого профессора подсказали ему эти слова. Талант духовного общения, дар дружбы есть, в сущности, дар любви; неутомимая заинтересованность в человеке, исканье, служение человеку, любованье им по всей возможности — вот это что. Для этого надо много проницательности и проникновенности. В. И. смеясь говорил о себе, что он шпион, что он доискивается и высматривает, и разузнает, как ярый шпион; но с какой любовью! — Раз как-то он разбрался со своим другом (не помню с кем), и тут же сказал: «Не христианские это отношения, если человек человеку не может «дурака» сказать».

Дар дружбы делал то, что масса людей шли к нему для уединенной интимной беседы. После в его семье эти беседы назывались «аудиенциями»⁹, и спрашивали гостей: «Вы как? аудиенциально или просто побывать у нас?» Немало подарил В. И. и мне таких «аудиенций». Личные, глубочайшие запросы воли и неисследимой природы человека раскрывались в меру сил и разумения; оставаясь личными, они как бы прорастали в области всеобщей духовной значимости. Часто событие личной жизни оказывалось символом и не померкало оттого, но связывало человека с космической жизнью. <...>

Словом, ответом Башни на революционное движение того времени был «мистический анархизм»¹⁰; и политическая печать заговорила о том, что «декаденты левеют». Однако надо признаться, что речи о мистическом анархизме были всегда как-то несерьезны и скоро угасли. А вот слова Л. Д. по этому поводу; речь зашла о В. И., о том, что для нее важнее всего в нем: «Он — поэт; а мистический анархизм, это — так! лужок, на котором он сейчас резвится. Если бы было иначе, я не осталась бы здесь». Очень характерны эти слова. Звание поэта исключало все другое; не в том смысле, что изолировало от других форм деятельности, но требовало отношения ко всему другому как поэта, т. е. свободного и творческого. И вновь я возвращаюсь к вопросу о свободе. На Башне политика занимала уж очень мало места; поэтому я позволю себе по-своему формулировать соотношение свободы и политики, и, думаю, мое мнение не будет противоречить основному тону того круга людей (но, конечно, не всех посетителей Башни): между свободой и политикой нет никакого соотношения; общественный строй есть всегда правовой строй, а право не имеет ничего общего со свободой, но совершенно связано с произволом и формами его обузданья и... разнузданья. Свобода может начинаться там, где право кончилось; но может и не начаться, если человек лишен творческих сил.

Источник творческих сил видели в религии. Раз как-то, улыбаясь и раскачивая ногой, заложенной на ногу, сказал В. И.: «Поэт должен перекреститься, начиная писать стихи». — «А если я хочу писать порнографические стихи?», спросил кто-то. — «Тогда вы не перекреститесь. И это будет тоже мысль о Боге».

Здесь было бы уместно перейти к морали, к той нео-христианской морали, которую сильно ставили в вину «декадентам». Но прежде я расскажу один забавный факт и довольно харак-

терный; он имеет непосредственное отношение к тому революционному времени.

Усмирение революционного движения шло грубо, жестоко и — неизбежно — грязно. Не представляю себе, чтобы кто-нибудь из бывавших на «средах» сочувствовал правительству; лицемерие и обман его были очевидны; только страх перед бунгом и осквернением святынь (не политических) заставлял быть сдержанными. Впрочем, Л. Д. ничуть не боялась бунтов, в какой-то мере любила их и признавала; а В. И. сказал как-то: «Будь русские помещики английскими лордами-хищниками в их замках-крепостях! а наши — что? настроили деревянных курятников и защищаться не могут». Во всяком случае, «интеллигентским», газетно-либеральным отношением на Башне не пахло. И вот, привели на одну из «сред» некоего одессита. Не знаю, кто он был; вероятно — журналист; лет сорока, еврей, полноватый, русый (если не лысый). Он знал, куда он попал, и, несомненно, высоко ценил эти «сливки» культуры. Ему предоставили слово, и он заговорил, заговорил — надолго. Сначала ему очень сочувствовали. Он говорил и об одесских событиях и очень остроумно сказал что-то о казацких нагайках; но чем дальше, тем больше речь его пахла пошлостью либерального фельетона провинциальной газеты; стал он упоминать о присутствующем обществе, о том, что это — «сливки», и много раз о «сливках», и еще, еще говорил... Становилось невыносимо. Заговорил он и о мистике и об оккультизме; он был прав — мистика и оккультизм играли здесь большую роль, но не по-газетному, а искренно и стыдливо. А он поет и все повторяет, однако обзывает присутствующих не оккультистами, а окулистами, сочувствующими революции; еще и еще раз — «окулисты». Тогда Л. Д., уже едва терпевшая, вскочила, стремительно вышла в другую комнату и стала изо всех сил колотить руками в дверь. Надо было видеть смущенно-довольное лицо В. И. Оратор смял речь свою и умолк.

<...>

«Когда-то только бедный мог войти в царство небесное, а теперь — богатому легче войти туда». Это слова В. И., слова поллушутливые, однако несущие определенную мысль. Они были сказаны об одном богатом молодом человеке, если не ошибаюсь, поэте-дилетанте и эстете. Благодаря богатству он имел возмож-

ность посвящать себя всецело тонкому и проникновенному изучению и переживанию искусства; это было «добродетельно».

В драме «Кольца»¹¹ Л. Д. говорит о любви, которая перерастает исключительность, ревность; как «Бог не ревнует нас к любимому нами человеку» (слова В. И.), так двое, объединенные любовью, ставшие силою любви чем-то большим сдвоившихся супругов, могут простирать свои руки за предел супружества и вовлекать в круговорот любви, перерастающей земные грани, других лиц, другие сердца. Легко видеть, как это может оказаться соблазнительным для малых, пошлых людей, как подобные допущения должны быть скрыты и как почти невозможно их осуществление в жизни. Однако последующий брак В. И. с дочерью Л. Д. от первого брака, Верой Константиновной Шварсалон¹², был трагическим и неприступным для людей, но — фактом. <...>

<...>

На одной из «сред» был поднят не помню какой вопрос; дебаты привели к большому углублению его; речь шла о больших мистико-философских проблемах. Все были завлечены живым и трепетным интересом; перед нами подымались, казалось, неразрешимые противоречия и чувствовалась неизбежная необходимость решений. В. И. взял слово. Он тонко и четко очертил проблему, открыл антиномичность в ее существе, указал на то, что антиномичность является как бы стражей тайны, «но если мы знаем об антиномичности, мы уже у порога тайн, если мы мыслим о ней, значит нам дана власть, и тайны раскроются нам».

Этими словами я хотел бы завершить вопрос о нравственности. Они показывают, к какой глубине познания стремился символизм, на какую реальность опирался, отыскивая принципы морали. Но никогда мораль не становилась самостоятельным предписанием. На нее смотрели как на некую тактику плодотворности духа. Только для человека, достигшего цельности, исследившего сущность свою в ее отношениях к миру, мораль становилась строем внутренних сил. «Нравственность есть созревшая любовь», так образно формулировал я свою мысль; и эта формула была принята одним человеком, чрезвычайно близким по духу Вячеславу Ивановичу.

Не забуду одного краткого, почти мимолетного разговора о красоте; в нем выразилось подобное же (как и к морали) отношение В. И. к эстетике. Обсуждали какое-то произведение пластического искусства, говорили между прочим о том, прекрасно ли оно (в вы-

соком смысле). «Ведь оно несомненно красиво; неужели непосредственное впечатление обманывает? Я вижу красоту», — сказал я. В. И. очень горячо ответил: «Надо же знать, что красоту нельзя набрасывать, как одежду, что красота не есть только внешняя форма. Она возникает из органической нужности данной формы, как бы из мистической утилитарности». (Передаю слова не точно, но уверен, что такова была мысль). Основная, единая реальность и здесь, как в нравственности, была критерием красоты. То же сказал В. И. и о логике во время прений с Ф. А. Степнуном на заседании христианской секции рел<игиозно>-фил<ософских> собраний. Ф. А. Степун, только что вернувшийся из Германии от учителя своего Риккерта¹³, пытавшийся подняться в мистику на дрожжах неокантианства, воскликнул: «Но логика, логика! как вы к ней относитесь?!» — «Я руковожусь ею в тех областях, где она правит мыслью; но дальше — я беру ее в карман, как полезный инструмент в нужных случаях, но не больше того». Под словом «дальше» надо понимать, конечно, область воли, антиномий, мистики, весьма уместно вспомнить Гегеля с его сверхчеловеческой «Логикой». Так что и здесь, в области рассудка и разума, мышление должно опираться на истинную реальность, из которой исходят и мораль, и эстетика, и разум.

«Я говорю, что я христианин, а меня обзывают люциферианцем», сказал как-то В. И. Один историк нашей литературы называет В. И. «эрудитом», будто с досадой¹⁴. В. И. — профессор и очень образован; навстречу «эрудиту» он мог выйти с эрудицией; он глубоко чтит науку и ее методы. Но огромной ложью будут всегда такие слова, как «эрудит», «декадент», «люциферианец».

Он прежде всего человек. «Объективность моя безгранична», — сказал он как-то о себе. Правду, если она фактична действительно, он всегда принимает даже до беспощадности. Но принимать правду трудно, быть может, труднее всего; человек обыкновенно понимает лишь то, что хочет понимать. Потому я и сказал, что В. И. прежде всего — человек, т. е. может открыться как человек всякому человеку, и самому чуждому по строю; и, в свою очередь, может видеть во всяком другом — человека, ту цельность и ту ценность, ради которой, в конце концов, мы существуем. Он проходил мимо людей только тогда, когда правда о них была убога, скудна.

Здесь должен указать на более специфическое определение, о котором я уже упомянул словами Л. Д.: В. И. — поэт. Он сам

говорил мне, что выше всего ценит отношение к нему как к поэту. Л. Д. видела в нем поэта. Должен сказать, что и я, чем больше узнавал его и понимал, тем яснее видел в нем поэта. Но как поэт-писатель, издающий свои книжки, он был мало доступен. Даже К. Сомов (художник) говорил мне по поводу «*Cor ardens*»¹⁵: «Трудная книга. Найдется, пожалуй, человек 500, не больше, которые поймут ее»... А ведь К. Сомов был тонкий ценитель стихов, на Башне часто бывал и близок был тому кругу идей¹⁶. Сам В. И. на мои жалобы на трудности его стихов признавал, что в «Кормчих звездах» он был «слишком педантичен». Близкий кровно (силой фантазии и проникновения) эллинизму, он этим отчуждался от современности; что для него было живым словом или образом, то другим чудилось «филологией». Главный недостаток его поэзии, б<ыть> м<ожет>, в том, что она недостаточно «глуповата», по слову Пушкина¹⁷. Однако надо было прослушать хотя бы несколько строк его стихов, как сам он читал их, прослушать внутренне просто, совершенно непредвзято, но с острым вниманием; тогда вдруг будто вспыхивала особая, до того скрытая, красота; все становилось ясно и до такой степени «поэтично», т. е. гармонично, свободно, строго и совершенно ритмично, что диву даешься. «Как любопытно быть непрочитанным автором», — сказал мне В. И., когда вот таким образом открылась мне, в один из многих раз, красота его поэзии. А когда стихи его не нравились, он не сердился, не защищался; и, помню, одни слова его по этому поводу: «Если публике чужды звуки или образы поэта, это еще не значит, что они плохи. Но поэты *должны* победить слушателей, открыть им новое восприятие, заставить полюбить».

Не без эгоистической цели расскажу факт поэтической восприимчивости В. И. Я как-то рассказал ему об одной звездной ночи у нас, на Украине. Он, после моего ухода, написал стихи «Роза ночей»; в них очень точно передано то, что он услышал от меня. Стихи эти помещены в «*Cor ardens*»¹⁸. Я ни на что не претендовал, но сам он потом сказал мне: «Простите меня; я по рассеянности не поставил посвящения, но стихи эти — ваши, они посвящены вам; так и знайте».

Поэтическая зоркость и чуткость В. И. были чрезвычайны. Хотя бы мимолетное, но характерное движение, образ, звук впечатляли его, и он переживал, размышлял, «носился» с этим впечатлением. «Достаточно посмотреть со спины, как он ходит,

чтобы увидеть, что он глуп», — сказал он про одного человека. Несмотря на силу и размах его фантазии, она была очень строга, п<отому> ч<то> вкус его был строг, и он признавался, что ужасно мало есть книг и произведений искусства, которые действительно всецело нравятся ему. Это не мешало ему хвалить и те вещи, в которых хотя бы частично искрилась поэтическая правда и мастерство.

Но надо отойти от понятия поэта, как писателя, к более глубокому пониманию этого слова, чтобы знать, чем дорожил В. И. в этом звании, почему Л. Д. признавала его единственным условием их единения.

В то «молодое» время на Башне постоянно говорилось, что поэт есть жрец и пророк. Не трудно видеть, что в силах поэтического творчества видели проявление возможностей несравненно больших, чем стихотворчество. Был ли то просто романтизм или знание правды и фактов? На Башне думали — последнее; ведь весь скепсис, вся холодная липкость мышления XIX века была основательно известна этим культурным людям; они были достаточно вооружены научно-философскими знаниями, чтобы не лепетать наивностей об экстазе и вдохновении, о полуживых, полувыведанных Музах и Аполлонах. Однако я сам сейчас сказал: «в то молодое время». И правда, позже, потом не повторяли слов «поэт, жрец, пророк». Задор опал. Но не изменилась мысль; только стала скромнее, тише, скрытнее, стыдливее. И я сейчас, начав говорить об этом существеннейшем на Башне, принужден преодолевать чувство стыдливости.

Вопрос о звании поэта был бы, пожалуй, излишним в этих воспоминаниях, если бы не связывался неразрывно с теорией символизма. Так, возникновение «акмеизма» в самом сердце символизма, этот откол от символизма, означал именно отказ от звания жреца и пророка и оставление за поэтом права петь произвольно, «глуповато», безответственно. Смешно было бы отрицать символизм, как одну из неотрывных сущностей искусства; только плохой поэт может опуститься до аллегоризма и только плохой читатель может дойти до грустной «приятности» чтения или житейски-исторической поучительности художественного произведения, но вопрос о «глуповатости» поэзии, в пушкинском смысле, остается великой проблемой для поэтов. Я приведу слова В. И., сказанные им уже в Баку, в 1924 году, незадолго до его отъезда. Я сказал ему в связи с речью об искусстве: «Не люблю

я символизма». — «Я тоже не люблю его», — ответил В. И., и не просто выговорил эти слова, а вдумчиво, как бы внутри себя вглядываясь в мою мысль и принимая ее. В чем же дело? Как свести концы? Как овладеть этой антиномией? — ибо это настоящая антиномия.

Может ли быть свободным человек, который никого и ничего не любит, ни перед чем не благоговеет? — Не может, потому что без любви человек не творит, но только комбинирует. Люди, лишённые любви, и не знают ни о каком творчестве, и даже теоретически признают только комбинации не то постоянных, не то непостоянных мировых данностей; и сам человек — такая же комбинация для них. Где же есть любовь, там есть и творчество (конечно, не только наглядное и исторически оцениваемое); и только здесь возможна свобода. У поэта — *cor ardens*; и он свободен; точнее — он постоянно создает свободу. Если сколько-нибудь смешивать свободу с произволом, то разбраться в этом вопросе невозможно; если же разграничить их, то, надеюсь, можно проследить мою мысль и дальше.

«Аполлон *требует* поэта к священной жертве»¹⁹; любовь *повелевает* человеку. Но она и есть самая сущность человека; если она даже умерщвляет, то она же и воскрешает. Здесь и находится корень свободы. И вот, поэт может это знать, даже слишком знать, и тогда он обязан сделаться «символистом»; но он может быть смиреннее, стыдливее, т. е. мудрее, а может он и совсем скрыть в подсознательное от самого себя свою сущность любви, творчества и свободы; и только в глубине поэтической совести сохранять мерилу своей свободы. Здесь — как бы постоянное колебание тончайших весов от глагола пророческого до детской игры символами повседневности. В легком движении этого колебания мы находим красоту искусства.

Так, сжато и несовершенно, я пытаюсь указать направление к решению поставленной выше антиномии. Надеюсь, что я достаточно осторожен, чтобы не нарушить строя мысли тех, о ком я говорю.

Считаю уместным привести здесь слова В. И.; хотя они и относились к вопросу о добре и зле, но в мировоззрении религиозных людей зло есть, по сущности своей, отрыв от реальности, т. е. бесплодие; поэтому основы морали сходятся корнями с вопросами и эстетики, и творчества. Насколько помню, вначале разговор шел о денежных затруднениях одного лица, о векселях, о том, что

он может не получить своих денег; поэтому В. И. и выразил свою мысль в этих образах: «Бог всегда платит чистым золотом; а черт дает векселя — и всегда дутые». В этих словах, кроме их прямого и разительного смысла, сказалась мысль о том, что правая надежда преодолевает время, предвосхищает осуществление, дарит мистическую, т. е. истинную, реальность. Как отдаленную параллель этому могу привести еще слова В. И. о страхе в любви: слишком «мужественное» обладание может поднять страх в существе женщины; «Но ведь вы же и тогда любите его?» — спросил В. И. Так «золотые облака мистики могут подыматься и над гнилым болотом», по слову того же В. И. Добавлю от себя: в таком случае они несут реальность потому, что они золотые. И грязь денежная, и ужас пола, и «вот эта бутылка» (слова В. И.; какая-то бутылка попала ему на глаза) — «все может стать символом» для настоящего поэта, что мы фактически и знаем, если знаем, что такое художник и художественное произведение. К этому на Башне всегда и постоянно единодушно добавлялось: и зритель есть художник, поскольку творчески воспринимает искусство, и всякий человек — художник жизни, если он не «живой мертвец», по слову Вл. Соловьева²⁰.

Мне остается коснуться еще религии и оккультизма.

Символистов называли нео-христианами. И правда, их христианство казалось новым сравнительно с «поповским», слащаво-прописным и подозрительно гибким христианством; так же далеко было оно и от «буддизирующего», интеллигентского деистического христианства Толстого. Христианство символистов можно было бы назвать воинствующим, но, конечно, не в смысле завоевания прозелитов, а в смысле отважной борьбы с основами неверия и скептицизма. Иногда символисты могли казаться еретиками или сектантами; но против того и другого они по духу своему восставали; хотя и терпимы были чрезвычайно к ересям и сектантам благодаря широкой и живой любознательности. Они отстаивали вселенское начало христианства, однако характер религиозности был не демократически-вселенский. Все святые признавались, принималась вся сила исторической церкви, и все же было отличие, особенность очень существенная.

Это христианство было отчасти аристократическим, отчасти эзотерическим. Конечно, не социальный, не сословный принцип имелся в виду; это было бы смешной пошлостью; и эзотеризм

не исходил из склонности к секретам. Точнее всего был бы я, если бы сказал, что христианство вооружалось научностью; поэтому получалось обособление от невежества; поэтому же прибегали к эзотерическим учениям, ибо они заключают в себе истины научного характера (б<ыть> м<ожет> будущей науки). Словом, повторяю, воинствовали с темным неверием и скепсисом. Но тем несомненное знали, что свет разума исходит от другого, более существенного, света; тем горячее признавали непознаваемое, и на опыте, т. е. мистически, переживали его реальность.

Пожалуй, можно было бы свести весь вопрос именно к опыту. Как положительные науки утверждены на опыте, так и религия. Чем острее и отчетливее переживать опыт, тем вернее и скорее мы приходим к религиозным переживаниям. Наглядной и живой связью между разумом и волей является искусство. Внешний опыт, как родовое начало личности; искусство, как рождение творческой индивидуальности; религия, как свобода, объединяющая во взаимности и единственности.

Но в земной судьбе человека видели то, что всякий, и не видя ничего, переживает неизбежно: воплощение воли. Думаю, что все религии имеют этот, единый им, корень. Христианство со всецелостью и опыта (факта), и постижения заключает в себе и глубину этой проблемы, и возможность, и силы свободного решения ее мистически и исторически. Такое отношение к христианству было основным и непоколебимым. И оно бросало свой неизменный свет на все перипетии жизни.

Таковыми недоговоренными словами я заканчиваю общую характеристику некоторых духовных и философских начал символизма Башни. <...>

Среды были многолюдны, и в толпе могли бы теряться наиболее значительные личности. Но собрания эти посвящались или слушанию новых произведений, или обсуждению какого-либо общего вопроса, главным образом об искусстве. В последнем случае председательствовал почти всегда Н. А. Бердяев, и очень он вдохновлял публику или постановкой вопроса, или своими речами. Нефилософствующие, к которым часто присоединялась и Л. Д., уходили в другие комнаты, и там было шумно и весело. Признаюсь, я никогда не уходил от философствующих; шум и веселье «молодежи» чувствовалось мною какими-то «интеллигентскими», хотя бы и очень тонкими и художественными,

но не «деревенскими», не детскими, с юмором будто заграничным. Там очень фигурировал С. Городецкий, от которого тогда много ждали (появлялся его первый сборник стихов)²¹ и который, как мне казалось, позировал на причудливого ребенка. Зато его рукописный юмористический журнал Башни «*Ruses des gamins*» был, правда, смешон, а иллюстрации хвалимы были даже Сомовым.

<...>

А. А. Блок читал свои стихи не увлекательно, немного протяжно, однозвучно, без скульптурности. Теперь я думаю, что он слишком многое слышал за пределами внешних звуков и не брался передавать того.

Из всех слышанных мною поэтов — а из крупных я не слышал, кажется, только Бальмонта и Брюсова — совершенно выделялся мастерством необычайным А. Белый. Некоторые вещи свои он напевал; они и писались под воздействием данного напева (помню — это были вещи шутливые, вроде «*Поповны*»²²); за напевом таилась тонко-музыкальная и разительная семантическая декламация. Но особенно поражен я был его читкой без напева. Помню, наловчившись немного, вернее — заразившись его способом читать, я декламировал его стихи дома родным; и этот намек производил потрясающее впечатление, особенно на мою чуткую к искусству сестру. «Тоска» или «Битва кентавров» («Золото в лазури»²³) звучали у Бориса Николаевича так, что художественный образ тоски охватывал и как-то уносил душу в царство тоски; а битва кентавров совершалась больше чем на глазах, она происходила будто в груди, вся цельная, — с криком, кровью и землей, и всем запахом той жизни. Гораздо позже Б. Н. рассказал, как он лишился этого дара: ездил он с другими «декадентами» в турне; в каком-то городе, кажется — Киеве, он оказался сильно простуженным, чихал и хрипел жестоко; но выступать все-таки пришлось²⁴. Он вышел на эстраду; перед ним в первом ряду сидит какой-то полицмейстер, красный, усатый и уже огорошенный декадентами, огорошенный и возмущенный неприемлемой новизной. И вот перед этой физиономией Б. Н. напевно захрипел свою декадентщину, которая и в нем, перед лицом этакого полицмейстера, зазвучала как декадентщина. Цветок его искусства оказался слишком нежным и был смят. Провал получился полный, и с тех пор Б. Н. утерял свое драгоценное дарованье. Только прозу он читал необыкновенно

и после того (я слышал «Серебряного голубя» и «Петербург»²⁵); но мастерство его вполне сказывалось именно в чтении стихов. Ритм его декламации был совсем гоголевский: сочетание лиризма с шаржем; под действием горьковатого смеха неутолимой жажды красоты ритм этот как бы скашивался в духе гоголевского гротеска, и тут же, странно перебивая смех, звучала задумчивость, именно задумчивость, в смысле — за пределом простой души человеческой, и как-то во имя далекого духа красоты, руководящего строением ритма и жертвенно преломляющегося в нем. Точнее слов не подберу. Если здесь был романтизм, то некий классический романтизм.

Уменьше поставить точку там, где ей приличествует быть, есть владение ритмом, ритмом классическим. В. И. смеясь говорил о добротных произведениях: «Сказал и — точка; еще сказал — и точка». Иными словами — строгая мера. Еще он говорил: «Когда писателю кажется, что он еще многого не договорил, тогда в его вещи все и сказывается; а очень растолкованное — мутно», т. е., если читателю не остается доли творчества, произведение воспринимается мутно, без эроса. Так, умея ставить ритмические точки, читал стихи В. И., свои стихи и еще, помню, Пушкина. Пожалуй, большая публика не восприняла бы всей изысканной мощи этого чтения; и не всегда В. И. читал окончательно прекрасно. Но это случалось нередко. Сравнил бы впечатление с чистейшим кристаллом, но не холодным, а пропитанным живыми лучами — скажем, искусства. Это чтение было классическим.

Кто только не читал на Башне, и многие — очень хорошо; но мастерство В. И. и Б. Н. заслонило всех других <...>

На одной из сред, во время речей о Боге и человеке, не помню кто сказал, не то Бердяев, не то В. И., слова, которых я не забываю, и приходится иногда повторять их: «Надо иметь роман с Богом». До чего слова эти соответствуют характеру мыслей и переживаний символистов того времени! В. И. издал тогда свои стихи «Эрос»²⁶, говорили об эросе в философии, в науке, в искусстве, говорили о «Пире» Платона²⁷. От Платоновой антиномии Эроса, как сына Обилия и Нищеты, восходили к антиномии Диониса — жертвы и победителя. Роман с Богом — это опять антиномия свободы в столкновении всеединства и единичности; страстное и страстное дерзновение сердца перед тайной Единого. На задумчивость мою о троичности В. И. привел слова итальян-

ской песенки (привожу приблизительно) «Мы встретимся, и нас будет трое: ты, я и наша любовь».

Когда я пришел на Башню, на средах уже не бывали ни Мережковские, что меня мало огорчало, ни Розанов В. В., что огорчало меня очень²⁸. Я не выспрашивал причин того и их не знаю, а догадки мои не интересны. Но вскоре прекратились и среды²⁹. Это произошло для меня как-то неожиданно и мало заметно; ведь я на Башне бывал часто и далеко не всегда по средам, потому что не любил многолюдства; отсутствие гостей или малое их количество, зато избранных, было гораздо интереснее. Когда я заметил, что «сред» больше нет и спросил — почему? — В. И. ответил: «Ритм стал не тот», с улыбкой. И опять я не выспрашивал.

Иногда собирались в комнате Л. Д. Там мебели не было; тюфяки, крытые коврами, подушки, ковры, большой куст камелии; всё в красных тонах. Там можно было почти только лежать. Греческий костюм Л. Д. был и красив, и удобен. Но жалкие пиджаки, тугие воротники, обувь, водосточные трубы брюк вопили о безвкусии и неестественности. Сами над собой смеялись, не зная, как сложить свое тело. Кажется, не всех допускала туда Л. Д. Помню Блока, Кузмина, Сюннерберга³⁰, еще кое-кого. Запомнил слова Л. Д. в этой комнате, точнее — вопрос. Я сказал об основной мысли в «33 уродах». — «В самом деле? Вы это нашли? А я не знаю, не думала... Это интересно». Помню еще в этой комнате живой, завлекательный разговор Л. Д. с Блоком; я «возлежал» поодаль; наконец не выдержал и подошел к ним. «Что? Заинтересовались?» — со смехом спросила Л. Д., но в это время все что-то зашевелились, заговорили, и так я ничего и не узнал.

С Ивановыми на Башне жили на второй год моего знакомства (1906–7) Волошины — Максимилиан Александрович и Маргарита Васильевна³¹. Он был тогда гораздо мельче и грубее, несмотря на поэзию, эрудицию, оккультизм, чем стал потом, в Крыму, во время и после революции. У него с женой происходило что-то неладное, и вскоре она уехала от него к Р. Штейнеру и навсегда³². Маргарита Васильевна оставила во мне впечатление нежного очарованья, духовного доверия, печали, преобразующейся в радость. После, почти случайно найдя ее заграничную книжку «Серафим Саровский»³³, уже в 20 году, я понял, кто прошел возле меня. Впрочем, раньше я видел писанный ею портрет Л. Д.

Зимой <190>6-<190>7 года Л. Д. была больна закупоркой вены в ноге; лежала даже в Еленинской больнице. Я навещал ее, возил цветы. <...>

Я уехал. Вернулся в деревню. Поздней осенью злая и тревожная судьба загнала меня в глухой городишко Белоруссии. Были это лично-казенноденежные дела. Кроме двух женщин, кругом вертелись люди грязные. Чувствовал себя каким-то закупоренным, зубы сжавшим. Читаю газету. Некролог Л. Д. Зиновьевой-Аннибал³⁴. Как блестящий меч — и через сердце. Я знал, что смерти нет. Но еще не все знал.

В Петербурге оказался через два месяца. Иду на Башню, и встречен Марией Михайловной Замятиной. Она охраняет В. И. от посетителей. Она меня не знала. Многих В. И. тяготился видеть. Пошла, сказала обо мне.

В. И. казался несущим тяжесть, физическую тяжесть на себе; во всем облике и движениях виделась такая отяжеленность. Больше того — и я сказал ему это — возле него я видел темную тень. Только теперь я понял, почему так было. Пусть никто не берется толковать эти слова в плане земном; может быть, ‘в конце этих записок найду возможным сказать.

<...>

В. И. был спокоен. Никогда не говорил о горе своем. Пожалуй, горя не было. Для нас смерть — не горе. Она может быть ошеломляющим событием, может причинить тоску разлуки, но совсем не окончательной, может очистить образ любимого и может открыть глаза на свою — оставшуюся — сущность и твой путь; и всегда смерть как бы умо³⁵ляет человека еще мыслить, еще созерцать таинство воплощения; но может и указать вину покинутого на земле человека. Я знаю, что В. И. продолжал любить Лидию Димитриевну, по-своему любить, как даже не мыслит, что любить можно, громадное большинство. Навсегда он ее любит. Малейшее напоминание — и сердце его просыпается о ее имени. И умереть он хотел всегда в Риме, где, в Колизее, произошла их встреча³⁵. <...>

<...>

В. И. со смертью Лидии Димитриевны как бы нес в себе задание сердца. А жизнь продолжалась, и опять на Башню потекли люди, да так потекли, что С. Городецкий нарисовал: башня высокая; в окне наверху растревоженная Мария Михайловна с ключом в поднятой руке, а внизу, у двери, длинная вереница паломников.

И люди победили. В. И. распределял «аудиенциальные» беседы, так как жаждущих было много; работать мог только от поздней ночи к утру, и вставал к вечеру.

<...>

Не помню, в каком году, приехав в Петербург, застал В. И. замороженного рассказами Гумилева об Абиссинии после путешествия туда³⁶. В. И. очень жалел, что я не слышал <...>

<...>

Как-то раз, когда мы «аудиенциально» разговаривали с В. И. в его комнате (центральная из трех комнат, деливших круглую угловую башню дома № 25 на Таврической ул., в мансардном этаже), он сказал мне: «Хотя я никогда никому не читаю своих еще не оконченных вещей, но вам хочу прочесть». Он прочел поэму «Теофил и Мария» (в «*Cor ardens*»³⁷) приблизительно до половины, а дальнейшее рассказал, как замышляет писать. По замыслу, он хотел изобразить последнюю сцену при бурном море. Но я нашел, что бури здесь быть не должно. Он согласился и так и сделал.

В погибшей оперетке «Любовь — игра?», написанной в Баку с музыкой его друга, покойного М. Е. Попова, учителя его дочери, ученика Танеева, посвятившего ему третий квартет, я настоял на благополучном конце и на том, чтобы герой и героиня, взявшись за руки, убежали — от людей к счастью любви³⁸.

<...>

Надо сказать хоть несколько слов о создании журнала «Труды и дни».

Значительно раньше на Башне подымалась речь о журнале символистов³⁹. Помню один вечер. Было довольно много народа и, между прочим, Аничков (профессор он был или доцент и какой дисциплины — сейчас забыл). Это был человек необыкновенно живой, здоровый, образованный, веселый, всегда с интересными сообщениями или запросами. То принесет латинскую цитату Фомы Аквината о красоте, то расскажет о последней научной книге или статье, то спор подымет, то смешит. Был он очень «красного» направления и в крепости сиживал⁴⁰, и о том ярко, забавно и остро рассказывал. Несмотря на это, в нем чувствовалось его очень дворянское происхождение. Был он небольшого роста, кругленький и очень русский. Словом, прекрасный образец русского интеллигента в лучшем смысле этого слова. В. И. очень любил его. Но — вот образчик отношения к символизму «интеллигента».

Говорили, обсуждали направление будущего журнала, его разделы, его объем. В замысле В. И. это должен был быть не-большой по размерам, строгий по направлению, совершенно не политический журнал. Аничков как-то будто бессознательно вставлял отделы обзоров политических, экономических. В. И. сначала замалчивал такие наметки, настаивал на своем; но когда Аничков совсем сформулировал свой план, по которому получался обыкновенный «кирпичный», толстый журнал определенного политического направления, тогда В. И. спокойно и просто сказал, что отказывается от участия в нем. Аничков подскочил, удивился, но спохватился и понял, до чего не понимал замысла В. И. Разговор замялся и перешел на другое.

Как по-иному переживали мы политику! В. И. говорил о приближении катастроф перед наступлением новой, *органической* эпохи. Я в одном напряженном разговоре с В. И. о судьбах людей, о России был потрясен чем-то вроде видения, предчувствия не-сметно пролитой крови; В. И. даже испугался за меня, помню. Андрей Белый говорил о том, что все подошли к какой-то грани, какой-то черте, за которой открывалась даль новой жизни; он характеризовал положение, отношение многих (свое, В. И., Брюсова и других) перед этой далью, как, кто и с чем пришел из леса прошлого к меже перелома. Помню, о Ремизове он сказал, что А. М. испугался, не вышел на край, а залез на дерево, еще в чаще, и оттуда высматривает... Это говорил он в те дни, когда обсуждался задуманный план нового журнала символистов. <...>

<...> Кажется, это было в 1910 году, может быть — в 1911-ом. Единомыслие участников журнала было полное; поэтому речь шла не о формате, размере, отделах, не о заглавии. К сожалению, не знаю, кто предложил название «Труды и дни»; было о том небольшое колебанье, но тысячелетний авторитет Гесиода превозмог. К тому времени спор среди символистов о сущности символа улегся. Толкование В. И. одержало победу в формуле: «*da realibus a realiora*», т. е. символ вовсе не есть аллегория, но живой образ, реально живой сам по себе, но он несет в себе еще высшее значение, еще более реальное, в котором узнаем непреходящее, сущее. В первой, руководящей статье В. И. были такие слова: «но мы знаем, что смерти нет»

<...>

Речи о журнале сводились к речам о символизме, о судьбах людских (и здесь Андрей Белый передавал интереснейшие вещи

из оккультных учений; ведь он был учеником Р. Штейнера)⁴¹, о замыслах отдельных авторов (свой замысел диалога «О причинности» я осуществил гораздо позже, хотя А. Б. так славно сказал мне после того, как я вкратце наметил мысль: «Милый, пишите, напишите скорей»). Кроме того, А. Б. читал части своего «Петербурга»⁴²; в его чтении они звучали во всей силе мучительного ритма этого романа. А. Б. нисходил тогда к русской «политике», если можно вообще назвать общественные движения в России только политикой.

В тот приезд он был один. А раньше (когда читал «Серебряного голубя») он был с женой — Асей Тургеневой⁴³. Она сделала тогда гравированный портрет В. И.⁴⁴. Это была очаровательная, нежная, одухотворенная юная женщина — будто сестра родная М. В. Сабашниковой. <...>

<...>

Еще в 1921 году в Сочи я слышал, что В. И. — в Баку, что скончалась Вера Константиновна, что нет и Вл. Эрн. В Сухуме, в 1922 году, я встретил человека, который знал В. И. как профессора Бакинского университета⁴⁵. С ним я передал В. И. письмо. Затем еще некто отвез мое письмо В. И. и привез ответ. Меня звали. Я был в ужасном положении. Для В. И. я оказался воскресшим из мертвых, потому что он был уверен, что я погиб.

Если не ошибаюсь, я приехал 1 янв<аря 19>23 года. Поселился у них, как в родной семье. <...>

И здесь В<ячеслава> Ивановича осаждали люди. И здесь — постоянные гости, искатели самораскрытия в свете общения с В. И., сознательные и несознательные. Но все загорались от живого слова и казались интересными другим и самим себе.

Подробности бакинской жизни Ивановых, думаю, многими зафиксированы. Знаю, что в дневнике М. С. Альтмана записаны интереснейшие разговоры его с В. И.⁴⁶. Я же скажу только то, что может быть сказано именно мною.

В. И. изменился с 1915 года, когда я видел его в последний раз в Петербурге на лекции его и Эрн в Тенишевском училище. Говорю о перемене внутренней. Горе налегло на него. Он замуровался в академизм, в профессорство⁴⁷. Я ясно видел, как он остепенял и охлаживал себя; «дионисийское» сверканье его было по возможности скрыто. Таково было внешнее впечатление тогда. А сейчас В. И. в Петербурге и в Баку видится мною все тем же, одним и единственным. В Баку он часто пил вино, и во хмелю его

разум, проникновенность, высокий строй сердца не омрачались, но обнаруживались иногда с силой и светом поражающим; он ничуть не делался грозным пророком, сохранял веселость и совершенную отзывчивость на всякую шутку; но если собеседник вызывал или мог вынести взлет к большим силам, то там В. И. — будто крылья простирал. Хмельные беседы его были не просто мудростью, но поэтической, творческой мудростью.

В Баку в нем определилась и одна слабость, потому что для него — это слабость: честолюбие. Люди, начиная с московских вождей, и бакинское общество поневоле питали в нем это чувство, так как он не мог не внушать сознания своего превосходства. Зато кое-кто и не любил его и за глаза судили, язвили, а иногда чудовищно клеветали на него (правду сказать, так, как нигде, никогда не встречал, кроме Баку).

К характеристике отношений московских центральных властей и В. И. передаю его рассказ: с момента большевицкого переворота В. И. отказывался от какого-либо участия в общественной и государственной деятельности, хотя его не раз, и почтительно, приглашали. Не знаю, до какого именно дня это тянулось, но вот к дому, где он жил, подъезжает автомобиль, и его просят ехать для открытия памятника Достоевскому⁴⁸. В этом отказать он не мог; сел, поехал, произнес речь. С тех пор — *la glace était rompue* (его слова), и он стал бывать и в Кремле, где едал какие-то бутерброды. Как-то раз он возвращался с собраний с Луначарским в автомобиле; и Луначарский как бы вскользь сказал, что некоторые ораторы вливают тонкий яд... намекая на речь В. И.

<...>

В Баку, как и в Москве, он был окружен почетом. Благодаря такому отношению он и был бессрочно командирован в Италию⁴⁹. Не представляю себе, как он мог бы ужиться при дальнейшей всеобщей перестройке, если бы оставался здесь. Его дипломатическая мягкость никогда не шла дальше предела внутренних убеждений.

<...>

Влияние В. И. на студентов было очень велико; до того, что многие из них в современной обстановке с усилием отбрасывали от себя воспринятые от него методы, точки зрения и восприятия явлений культуры. И все-таки научная и живая закваска сохранилась в них, и некоторые ученики его пошли по научной дороге

с успехом. Когда я приехал, университет еще пользовался широкой автономией; здесь было много видных научных сил... <...>
<...>

Незадолго до отъезда из Баку В. И. сказал мне: «Нам надо с вами говорить. Мы еще и не начали — о самом главном». И это — после двадцатилетней дружбы!

Так, над каждым годом, над всякой минутой жизни стоит как бы огненный столб бесконечности.

1934

